



МИРОСЛАВ ИВАНЦОВ
БЮДЖЕТНОЕ МЕСТО

Мирослав Иванцов

Бюджетное место

<https://litres.ru/74668918>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мирослав Иванцов. Бюджетное место.

Поезд Саратов — Москва. Три тысячи рублей в носовом платке, банка клубничного варенья и черновик сообщения отцу на СВО: «Мне страшно». Он поступил сам, никого ни о чём не прося, — так велел отец.

Но бюджетное место оказалось ярлыком. Первый же однокурсник смотрит на него, как на ценник: «Сочувствую». Потом мем в чате курса. Потом сбор по две тысячи: «Он бюджетник, ему можно».

Мирослав не дает денег. Идёт работать курьером, запоминает коды московских подъездов, складывает деньги в носок. И понимает: город делится не на богатых и бедных, а на тех, где тебя ждут, и тех, где ты пока посторонний.

Честный роман о социальном лифте изнутри, о скромности и о достоинстве, которое важнее, чем кажется.

Первая часть. Продолжение — в работе.

Мирослав Иванцов

Бюджетное место

Глава 1

БЮДЖЕТНОЕ МЕСТО

роман

Глава первая

Поезд

Поезд трогается в 22:17, и мама идёт вдоль вагона за моим окном, пока есть перрон. Она не машет рукой. Она держит ладонь на уровне моего плеча - так держат за руку ребёнка, который уже вырос, а привычка осталась. Потом перрон кончается, и её нет. Я стою в тамбуре и слушаю колёса. Если я сейчас заплачу, это ничего не изменит. Поэтому я не плачу.

Я поставил себе это правило ещё дома: не делать того, что ничего не меняет. С мамой правило не работает. Со мной, похоже, тоже.

У меня один рюкзак. Старый, серый, с молнией, которая закрывается в два приёма: до половины свободно, дальше с усилием. В нём все мои вещи на ближайшие месяцы. Мне семнадцать, и вся моя жизнь помещается в один рюкзак. Я ещё не решил, как к этому относиться.

Моё место - тридцать шесть, боковое, у самого туалета. Напротив — женщина с мальчиком лет пяти. Она разворачивает бутерброды с копченной колбасой, и запах доходит до меня быстро, потому что я не ел с обеда. У меня в пакете жареная курица: мама пожарила её специально в поезд. И банка клубничного варенья, обёрнутая полотенцем и моими носками, чтобы не разбилась. «Клубника, твоя любимая», - сказала она. Моя любимая - вишня. Я не поправил её. В этом году вишни не было, но дело не в вишне.

Я сижу напротив женщины с бутербродами и думаю: если я достану курицу и начну грызть её в дороге, они будут коситься. Никто не скажет ни слова. Им не нужно говорить — я и сам всё скажу за них, внутри, быстрее их.

Поэтому я не ем. Я еду голодным в Москву. Меня зовут Мирослав Иванцов, мне семнадцать лет, я поступил на бюджетное место в престижный ВУЗ. Но мне стыдно есть жареную курицу. Я злюсь на себя.

Три тысячи рублей лежат в носовом платке. Мама сложила их треугольником и отдала мне на перроне, быстро, как передают что-то запрещённое. Мама работает в соцзащите: восемь часов в день она объясняет чужим людям, как прожить на пособие, и знает наизусть все выплаты и субсидии. «Это на первое время». Она не сказала, на сколько и сколько можно тратить в день. Мы оба посчитали, на сколько это может хватить. И оба не стали произносить вслух, что посчитали.

Куртка у меня тоже одна. Она лежит в рюкзаке, свёрнутая в трубу. Мама говорила: купи вторую. Я сказал: куплю в Москве. Мы оба знали, что я не куплю.

Отец простился со мной по видеосвязи за день до отъезда. Экран дрожал и рассыпался на квадраты, и его лицо то появлялось, то собиралось заново, будто он всё время немножко уезжал. Он сказал три вещи: «Ничего не бойся. Никого ни о чём не проси. И не лезь в долги». Потом начал говорить что-то ещё - и связь оборвалась на середине слова. Я не знаю, что он хотел сказать. Я думаю об этом оборванном слове до сих пор. Оно могло быть любым.

Переписка у нас с ним не частая. Он пишет, когда есть связь. А связь бывает не всегда. Год назад он ушел на СВО, сейчас воюет где-то в Судже.

Смотрю на свой смартфон. Трещина идёт через экран из угла в угол, старая, уже притёртая. Телефону уже пять лет, и мне иногда кажется, что он тоже уезжает учиться.

В Ртищево мы стоим двадцать минут. Я выхожу на перрон: ночь влажная, тёплая, пахнет шпалами и чужими сигаретами. У выхода курят двое парней моего возраста, громко смеются. Я встаю рядом, руки в карманах, и не курю. Мне семнадцать, я поступил на бюджет, и мне почему-то важно, чтобы они подумали, что я тоже умею курить, просто не хочу. Я стою и смотрю на свои кеды.

Отправляю: «Доехал до Ртищево. Всё нормально».

Это правда. Всё нормально: я еду, я поступил, у меня есть

место, которое я занял сам, никого ни о чём не прося, как велено. Через двадцать минут телефон дрожит в руке: «Хорошо. Держись, мы с тобой».

Я перечитываю это поверх трещины. «Мы с тобой». За окном тёмное поле, за полем другая тьма, а он там — пишет мне двадцать слов в сутки, и все они про меня. Я должен ответить что-нибудь лёгкое. Нормальное. Как у людей.

Печатаю: «Мне страшно».

Смотрю на эти два слова дольше, чем нужно. Они маленькие и честные, и они целиком про меня, и они совсем не подходят для чата, где отец спит по три часа и пишет «держись». Один из нас двоих имеет право бояться вслух. Я решаю, что это он.

Стираю. Мессенджер сам сохраняет черновик, и я знаю: теперь «Мне страшно» лежит внутри телефона, под его именем, невидимое. Как будто стёртого нет. Как будто его не было.

Отправляю: «Ага». «Спокойной ночи» я не пишу — «спокойной ночи» звучит как прощание.

В вагоне темно, пахнет лапшой из стаканчиков, кто-то храпит на верхней полке. Я забираюсь на свою боковушку, разворачиваю платок, пересчитываю: три тысячи. Сворачиваю обратно треугольником, как мама. У неё углы сходятся, у меня — нет. Пробую ещё раз. Не сходятся. Ладно.

И тогда, в темноте, под стук колёс я ловлю себя на том, что репетирую. Беззвучно, в голове: «Мирослав. Из Саратова. На

бюджет». Как будто я уже стою перед ними - перед всеми, кого ещё не видел. Как будто от того, как я это скажу, зависит что-то важное.

Мне не важно, что они подумают. Я не хочу им нравиться.

Я повторяю это про себя, как заклинание. Раз. Два. На третий раз я понимаю, что вру, и от собственной лжи мне становится так противно, что хочется разбудить весь вагон и сказать кому-нибудь правду. Не разбужу. Не скажу. Закрою глаза.

Курица лежит в пакете под полкой, и я думаю о ней, как о человеке, которого подвёл. Утром, в Москве, я съем её где-нибудь в углу, стоя, чтобы никто не видел.

За окном летит тёмная страна: поля, леса, одинокие огни. Позади - мама на пустом перроне. Впереди - список, где двадцать седьмой строкой сверху написано: «Иванцов Мирослав, бюджет». Я смотрел на эту строку месяц назад так долго, что учительница спросила, всё ли в порядке. Всё. В порядке

Колёса стучат ровно, как кто-то большой и равнодушный пересчитывает всё, что у меня есть. Три тысячи рублей в носовом платке. Одна куртка. Банка варенья не с той ягодой. Отец - «мы с тобой». Мама - с тремя тысячами. И я — бюджетное место.

Кажется, всё. Кажется, пока этого должно хватить.

Метро

Поезд вползает в Москву так же, как ночью выползал из Саратова, - не торопясь, медленно.... Я стою у выхода с рюкзаком и смотрю в окно.

На Павелецком вокзале я выхожу в людской поток и позволяю ему нести меня. Люди идут стеной, и я иду стеной. Я месяц готовился к Москве по видео: смотрел, как выходят с вокзалов, как переходят дороги, как держат рюкзак. Думал, труднее всего будет разговаривать. Труднее всего - не затормозить посреди зала. Кто тормозит, того сносят, и никто не оборачивается.

Курицу я съедаю прямо там, в зале ожиданий, за колонной, стоя, как и планировал ещё в поезде. Разрываю фольгу, грызу, обгладываю кости, складываю в пакет. В Саратове это была бы просто еда. Здесь мне кажется, что я делаю что-то не то, и я ем быстро, как вор. Никто не оборачивается. Может быть, дело не в Москве. Может быть, дело во мне. Курицу я доедаю до последнего куска, потому что не знаю, когда поем дальше. Это лучшая еда в моей жизни. Варенье уцелело: полотенце и носки сделали своё дело.

У входа в метро пахнет кофе - настоящим, из кофейного ларька. Четыреста рублей. Я стою и делю эти четыреста в голове на проезд и доширак, и деление складывается в приговор. Я не покупаю кофе. Не потому, что не хочу. Потому что не могу. Люди со стаканами проходят мимо, и между нами не километры - между нами эти самые четыреста рублей.

В кассе метро я разворачиваю носовой платок и отдаю через окошко триста рублей — на карту. Кассирша смотрит на платок ровным профессиональным лицом, и я благодарен ей за это лицо. Десятая часть всего, что у меня есть, теперь живёт в на красивой карточке. Денег у меня мало, зато теперь у меня транспортная карта, я теперь такой же как все.

Эскалатор уходит вниз глубоко, как шахта. Я встаю справа, потому что все стоят справа. Правила этого города написаны на спинах тех, кто стоит. Я читаю.

Схема метро висит во всю стену, огромная, разноцветная, как карта чужой страны. Я фотографирую её. В моём смартфоне нет ни одного снимка Москвы, зато теперь будет схема метро. Трещина проходит через Кольцевую, и половина станции «Павелецкая» ложится на мутную полосу. Ладно. Комсомольскую я и так знаю: я на ней стою.

До Коньково - Кольцевая до Октябрьской, потом оранжевая ветка вниз. Я выучил это дома, в Саратове, за месяц до отъезда, и сейчас повторяю про себя, как стихи: «Павелецкая - Октябрьская - Коньково». Семнадцать лет, бюджетное место и съема метро наизусть.

Указателей здесь много: «Переход на Кольцевую линию», стрелка, коридор, лестница, снова коридор, снова стрелка. Я иду быстро и ровно, с лицом человека, который здесь живёт. Лицо - это всё, что у меня есть, и я ношу его, как рюкзак, не расставаясь.

Один раз я всё-таки промахиваюсь. Захожу в вагон - и уже

на пороге вижу по табло, что поезд идёт не в ту сторону. Выскакиваю назад ровным движением, с невозмутимым лицом. Двери закрываются у меня за спиной. Никто не смотрит. Со всем никто. Поезд уезжает, толпа течёт мимо, и я стою в ней, как камень в реке: вода обтекает и не интересуется.

На Кольцевой вагон набит. Я держу рюкзак перед собой, как щит, и смотрю в схему над дверью. Люди не смотрят друг на друга – почти все смотрят в смартфоны. Я тоже смотрю в схему. В Москве удобно делать вид, что тебя нет: тут это делают все.

В тёмном окне напротив отражаюсь я: серая куртка, рюкзак на груди, лицо уставшего человека. Я смотрю на это лицо дольше, чем нужно, и ловлю себя на мысли, что завтра его увидят новые люди. Они решат по этому лицу, кто я такой. Я поправляю воротник.

Переход на Октябрьской долгий, с лестницами и поворотами. Я ни у кого не спрашиваю дорогу — «никого ни о чём не проси», правило номер два. Возле перехода стоит дежурная в оранжевом жилете, готовая помочь каждому. Я прохожу мимо неё на полметра дальше, чем нужно. Читаю указатели и делаю вид, что всё понимаю. Получается так себе, но стороны - вполне.

Оранжевая ветка идёт на юг. Шаболовская. Ленинский проспект. Академическая. Профсоюзная. Новые Черёмушки. Калужская. Беляево. Я не сплю. Я считаю каждую станцию, как деньги: боюсь пропустить свою остановку.

Коньково. Эскалатор выносит меня наверх, и Москва, которую я увидел, оказывается совсем не открыточная: де-вятиэтажки, ларёк с шаурмой, люди с азиатскими лицами. Москва, которую я представлял, была открытка - башни, купола, огни. Четыре года я буду считать это Москвой. И это будет честнее открытки.

За всю дорогу от Павелецкого вокзала до Коньково - мне в глаза не посмотрел ни один человек. Я приехал, а город не заметил моего приезда. Никто не смотрит. В этом и суть: Москве до меня нет дела, пока я сам не напомним о себе.

Я достаю телефон и отправляю отцу: «Доехал до Коньково. Всё нормально». Маме напишу из общежития: ей важно, когда я буду на месте.

Надеваю рюкзак. У меня есть четыре года, триста рублей на карте и двадцать седьмая строка в списке. Я сам о себе напомним - сначала общежитию, потом университету, потом городу. В таком порядке.

Общежитие

Общежитие стоит во дворе за шиномонтажом: шестнадцать этажей серого бетона. Здание не новое, но вполне приличное. У вахты пахнет хлоркой и старыми матрасами. От матрасов хлорка не спасает.

Перед вахтой толпятся первокурсники с родителями. У всех большие разноцветные чемоданы на колёсах: папы

несут, мамы командуют, бабушки страхуют. Я стою в очереди один, с рюкзаком. Никто не удивляется, и я не удивляюсь.

Комендант, которую зовут Валентина Ивановна, судя по бейджику, сидит в стеклянной будке и берёт мой паспорт. Она сверяет фамилию с приказом о зачислении и говорит строго: «Первый курс? Правила на стене. Ключ потеряешь – заплатишь штраф. Бельё получишь внизу, душ на этаже, отбой в двадцать три». Ни о чём не спрашивает. Мне отчего-то легче: с ней не нужно ничего изображать.

Правила висят справа под стеклом: «ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА» - двенадцать пунктов. Я читаю все, до последнего, пока очередь шевелится за спиной. Мне спокойнее, когда правила написаны: правила можно выучить наизусть. У отца их три. Здесь двенадцать, нормальный набор.

Комната пятьсот четырнадцатая, пятый этаж. Два стола, два шкафа, две кровати, на полу линолеум, вытертый до основы. Сосед уже здесь: его половина - с полотенцем, книгами и пакетами; моя - пустая, кровать просто с матрасом, который многое помнит. Кровать у окна достаётся мне: сосед машет на неё рукой - «бери, я к двери привык».

Потом он спрашивает: «Откуда?» - «Из Саратова». Он кивает: «Нормально». И всё. Возвращается к своему полотенцу, как будто мы обсудили всё, что людям положено обсуждать в первый день.

Я жду продолжения. Подвоха нет. В поезде я репетировал:

«Мирослав. Из Саратова. На бюджет», - готовился к прищуру, к шутке, к вопросу «и сколько ты набрал». Никто не спросил. Репетиция не понадобилась. Это первое «нормально» за два дня, которое ничего от меня не хочет.

Рюкзак пустеет за пять минут: вся жизнь на ближайшие месяцы помещается в тумбочку, половину шкафа и два крючка. Телефон я кладу под матрас - так я услышу его ночью, если он завибрирует. Платок с деньгами сворачиваю треугольником, как мама, и прячу в носок - тот самый, который ещё утром держал банку. Это не смешно. Это привычка человека, которому некомфортно. Некомфортно - мне.

Банка варенья встаёт на подоконник - клубничная, не моя любимая. За окном - двор: качели, машины, девятиэтажка напротив, между ними тополя. Это будет моя Москва на четыре года.

Маме пишу: «Заселился. Всё хорошо». Она отвечает через минуту — у неё, в отличие от отца, связь всегда есть: «Ура!!! Очень рада!!! Обнимаю. Поешь нормально, не экономь на еде. Позвони мне, как сможешь». Три восклицательных знака — по-прежнему её подпись. Я знаю, что это значит: у неё пересохло в горле, и словами получается не всё. Я пишу: «Хорошо, мам». Слово «мам» я не стираю. Оно маленькое, и оно всегда подходит.

Вечером общежитие оживает по своему графику: из коридора слышны шаги, в кухне кто-то готовит, кто-то напротив учит вслух английский и путает времена. Сосед лежит в

наушниках и смотрит в потолок. Я сижу на своей кровати и не знаю, куда деть себя. Дома я знал.

Пишу отцу: «Заселился. Всё хорошо».

Он отвечает через сорок минут: «Горжусь тобой, сынок».

Я печатаю: «Спасибо, пап». Стираю «пап». Отправляю. «Спасибо». Одно слово - и мне кажется, что это мало. Больше у меня сегодня нет. Черновик «Мне страшно» из поезда всё ещё лежит под его именем. Я его не трогаю: пусть лежит - он честнее всего, что я сегодня отправил.

Ключ я ещё днём привязал шнурком к молнии рюкзака: терять его я не планирую. Я ложусь на кровать у окна и слушаю, как в трубах гудит вода. Телефон - под матрасом. Деньги - в носке. Варенье - на подоконнике. Ключ - на молнии. Правила - на стене, все двенадцать пунктов, я их выучил. Всё, что у меня есть, разложено по местам, как в поезде. Завтра - первый семинар.

Кампус

Кампус видно отовсюду: главное здание стоит посреди района, как корабль, который припарковали между панельками и забыли поднять якорь. Я выхожу из общежития заранее - за час, чтобы поискать аудиторию не в панике, а с запасом. В рюкзаке вода, тетрадь, ручка и расписание, переписанное от руки: так надёжнее.

В холле прохладно, пахнет полиролью и духами. Люди

двигаются быстро и по делу, как будто все, кроме меня, получили карту местности при рождении. На первом этаже - стенд со списками групп: фамилия, аудитория первой пары. Я нахожу свою - седьмая сверху. Аудитория четыреста двенадцать, четвёртый этаж.

Спрашивать дорогу я не буду: «никого ни о чём не про-си», правило номер два. Есть указатели - «аудитории 401–430: лифт направо, лестница прямо». Я выбираю лестницу: в лифте придётся стоять слишком близко к людям, которых я пока не умею держать на расстоянии.

Около аудитории стоят четверо. Я слышу их раньше, чем вижу: они очень громкие. У парня в центре футболка с логотипом какого-то дорогого бренда, которого я не знаю, но знаю, сколько примерно стоит: как моя еда на месяц. У девушки на запястье часы, как маленький телевизор. Третий внимательно смотрит на парня в футболке. Четвёртый стоит чуть поодаль и молчит. От них пахнет дорого - так пахнет магазин, в который я никогда не заходил. Они не злодеи из фильма. Злодеи из фильма грубы. Эти — расслаблены. Но им ни разу в жизни не говорили «тише».

Они играют в свою игру. Смотрят на студента и решают, поступил тот бюджет или контракт. Угадывают по кроссовкам, по лицу, по тому, как человек держит рюкзак. Не успел я к ним подойти, как меня уже выбрали.

— Ты бюджетник? — спрашивает парень в дорогой футболке.

— Да, — говорю я.

Пауза короткая, как споткнувшийся пульс. Он смотрит на меня быстро и сверху вниз, как на ценник. Потом улыбается, приветливо, в упор, как старому знакомому.

— Сочувствую.

Девушка смеётся первой - быстро и громко, как будто боится опоздать. Третий мерзко хихикает. Молчаливый не смеётся.

Уши у меня горят: сначала всегда горят уши, потом садится голос. Лицо у меня отцовское - снаружи ничего не прочитано. Спасибо, папа.

У меня есть что ответить. Правильные слова выстраиваются в голове за секунду до и на час позже: «Сочувствую твоим родителям, что деньги на ветер выбросили». Или просто: «Не надо». Но я молчу. Не потому, что слабый. Потому что я всё ещё хочу, чтобы они меня приняли. Хоть один. Это самое противное, что я узнал о себе за два дня.

— Артём, мы идем на лекцию? — спрашивает девушка.

Они заходят в аудиторию. Коридор пустеет. В месте, где они стояли, остался запах дорогого магазина. И только теперь приходят настоящие ответы - острые, побеждающие, ненужные. Они всегда приходят, когда коридор пуст. Я говорю пустому коридору ровно и тихо: «Сочувствую тебе тоже». Получается не страшно. Получается жалко. Я ненавижу себя за молчание - и почти так же ненавижу себя за то, что репетирую победы на пустом этаже.

До семинара девять минут. Я вхожу в аудиторию четыреста двенадцать и сажусь у окна. Я теперь сажусь около окна всегда. Пусть хоть что-то в моей жизни будет постоянным.

Первая лекция

Аудитория четыреста двенадцать наполняется за пять минут до пары. Люди выбирают места так, как будто от этого зависит срок: кто-то вглубь, кто-то к стене, девушка с конспектами - в первый ряд, поближе к доске. На доске выведено мелом: «Город и человек в русской литературе». Настоящим мелом.

Артём со своей компанией сидят в центре, рядом, как один организм, и полушёпотом, смеясь что-то обсуждают. Они не смотрят по сторонам. Им не нужно производить впечатление. Место они занимают как своё: и место, и аудиторию, и весь этот университет.

Преподаватель, который представился Андреем Петрови-чем моложе всех преподавателей, которых я видел в жизни: джинсы, свитер, термокружка. Он не встает за кафедру - садится на край стола и спрашивает, не сверяясь со списком:

— Ну что. Первые дни в новом городе. Кто-нибудь уже понял, как город с вами обошёлся?

Артём отвечает первым. Он не тянет руку — просто начинает говорить, спокойно, как продолжают разговор.

— Город — это система, в которой человеку проще все-

го остаться незамеченным. У Достоевского Петербург так устроен: лестницы, чёрные ходы, доходные дома — человек там функция пространства. А Москва работает наоборот: здесь нельзя затеряться, тебя постоянно считают - по одежде, по взгляду, по реакции. Поэтому человек в большом городе вынужден собирать себя заново.

Он не ищет слов: они стоят у него наготове, как в витрине. Пара человек кивает. Девушка слева записывает. Андрей Петрович кивает тоже: «Нормально. Кто ещё?»

Пауза. Я знаю паузы: я в них живу всю эту неделю. Она тянется. Андрей Петрович ждёт терпеливо, как будто у него есть время, и в тишине я слышу, как кто-то стучит ручкой по парте. Мне от этого ожидания становится не по себе - и я говорю раньше, чем успеваю передумать.

— У нас под окном трамвай ходил.

Голос звучит громче, чем я хотел. Оборачивается половина аудитории.

— Он скрипел на повороте, и я по этому скрипу просыпался.

— И ещё. В нашем подъезде здороваются. Все со всеми. Не потому что дружат - просто если не поздороваться, день начинается неправильно. И Волга у нас такая, что другого берега не видно. Я всю жизнь думал, что так у всех.

Я замолкаю. Я не знаю, как это связано с литературой. Я просто рассказал, как у нас.

В аудитории тихо. Ручка перестаёт стучать. Слышно ба-

тарю и то, как за окном проехала машина.

— Интересно, - говорит Андрей Петрович. И по-настоящему так: я умею отличать — мне всю жизнь отвечали из вежливости. — Правда интересно. Так, дальше...

И он идёт дальше по теме, как будто ничего не случилось. А мне мало. Я хочу, чтобы он спросил ещё — про трамвай можно говорить полчаса. Я ловлю себя на этом и злюсь: только что чуть не сгорел от внимания и уже хочу ещё. Вот тебе и «никого ни о чём не проси».

Артём оборачивается - не сразу, через минуту, между вопросами. Смотрит дольше, чем нужно. В прошлый раз, у лифта, он меня не видел: я был фон, ценник, недоразумение с рюкзаком. Теперь увидел. Улыбается не так, как тогда: тогда было весело, теперь деловито.

Меня заметили.

До конца пары я не говорю больше ни слова. Артём отвечает ещё дважды, гладко, как по накатанной: у него абзацы готовые, у меня - трамвай и подъезд. Его ответы не стоят ему ничего. Мой стоил моих семнадцати лет.

* * *

Вечером в комнате никого. Телефон начинает вибрировать в семь: раз, второй, потом не перестаёт. Чат курса. Фотография - я на семинаре, снято сбоку, из-за чужого плеча. Я сижу слишком прямо, ручку держу двумя руками, как лопату. Подпись: «Когда первый раз увидел Москву».

Ниже сыплются смеющиеся смайлики. Я считаю. Два-

дцать три. Я не собирался считать.

Артем ставит тоже - один, как все, без текста. И это почему-то хуже, чем текст: остальные смеются, а он подтверждает. Ему даже не пришлось стараться.

Я начинаю печатать. Стираю. Печатаю - выходит злее, чем нужно. Стираю. Ответить - значит признать, что мем про меня. А он про меня. Молчание начинает походить на характер.

Я открываю чат с отцом. Пишу: «Всё хорошо. Тут интересно». Отправляется — одна галочка, вторая. Пальцы сами дописывают: «Мне страшно».

Я смотрю на эти два слова. Эту фразу я уже стирал — в поезде, под этим же именем. Кажется, мне предстоит стирать её ещё долго. Стираю. Кладу телефон экраном вниз.

За окном шумит Москва. Не красивая, громкая. Я не плачу. Мне просто нужно, чтобы руки что-то делали.

Я достаю тетрадь, в клетку, дешёвую. Открываю первую страницу и вывожу крупно, продавливая бумагу: «Я не буду извиняться за то, что я здесь». Буквы выходят кривые. Я их не исправляю.

Это не поражение. Это начало сопротивления.

Глава вторая

После мема

После мема прошло три дня. Все три я ждал разговора: в

коридоре общежития, у вахты, на кухне. Готовился к нему, как к экзамену, про который знаю только одно: он будет.

Ответы у меня готовы. Четыре варианта, отработанные в душе, где слышно только воду. На «Ну как Москва, увидел?» — «Видел. Не впечатлился». На «Твой мем?» — «Мой. Могу еще». Ещё два лежат про запас. В душе они звучат как готовые. Возле живых людей мне ни разу не пригодился ни один.

Суббота и воскресенье прошли спокойно. Я выходил только за хлебом, постирал две футболки и выучил несколько уроков. Телефон лежал экраном вниз, и я переворачивал его чаще, чем ел. Новых сообщений не было. Старые нигде не делись: мем, смайлики и ещё один, двадцать четвёртый, пришедший в ночь на субботу от человека, которого я не знаю.

В понедельник я встаю в семь, за пятнадцать минут до будильника. Умывальник на этаже пустой. Сосед спит, накрывшись с головой. Я умываюсь холодной водой и смотрю в запотевшее зеркало ровно столько, сколько нужно.

Завтрак: хлеб и клубничное варенье с подоконника. Клубничное оказывается съедобным, если не думать о вишне. Я стараюсь не думать о вишне.

Перед выходом пересчитываю деньги в носке. Пересчитывать бессмысленно: от внимания сумма не растёт. Я всё равно пересчитываю. Привычка человека, которому некомфортно, переехала сюда вместе с человеком.

До корпуса двенадцать минут, если идти мимо гаражей и

через арку. Эту дорогу я выучил сразу же. Навстречу идут люди с кофе, с портфелями, с детьми за руку. Я иду с рюкзаком и четырьмя ответами в голове.

Учебный корпус, лестница, четвёртый этаж, четыреста двенадцать. Всё как тогда.

Они на месте: центр аудитории, рядом друг с другом, как один организм. Артём Барский (оказывается у него такая фамилия, очень характерная) показывает зевающему что-то в телефоне. Когда я вхожу, он не поднимает головы. Это не похоже на внимание. Это похоже на то, что тот семинар для него уже закончился.

Я сажусь у окна, раскладываю тетрадь, ручку, воду. Фраза на первой странице смотрит на меня снизу, если открыть не на той странице. Я открываю на чистой.

Пара идёт своим ходом. Андрей Петрович выводит мелом новую тему и спрашивает по списку. Смех в конце ряда случается дважды: один раз из-за чьего-то конспекта, второй из-за сериала, который я не смотрю. Про меня не смеётся никто. Я жду этого смеха весь первый час, держа в голове четыре варианта. Они выходят из строя один за другим, не успев сработать.

— Дайте ручку, у меня умерла, — шепчет девушка слева, та, что записывает.

Я даю. В конце пары она возвращает и говорит «спасибо». Я говорю «пожалуйста» с задержкой, как перевод с чужого языка. Это самый длинный разговор за три дня.

Механизм я понял к середине пары. Здесь не добивают повторно. Здесь просто продолжают жить рядом. Мем был для них пятнадцатью минутами вечера, а для меня тремя днями. Меня не оставили в покое из жалости. Я кончился, как кончается шутка. И с этим нужно что-то делать, потому что иначе можно прожить весь семестр, ожидая продолжения.

После пары, в коридоре у окна, я открываю чат курса. Он живёт своей жизнью: обсуждают практикум, кто-то ищет конспект, кто-то продаёт билет на концерт. Мой мем уже на второй странице: чтобы до него дойти, надо листать. Никто не листает. Я листаю. Смотрю на себя, слишком прямого, с ручкой в двух руках. Закрываю.

Вечером я сижу на своей кровати у окна. Внизу двор: качели, машины, тополя, девятиэтажка напротив. Банка варенья рядом. Ключ на молнии рюкзака. Носок в тумбочке. В семь двадцать восемь я открываю чат в последний раз. Ничего. Чат живёт дальше, и во всей этой жизни меня ровно одна фотография на второй странице.

Я достаю тетрадь. Под фразой «Я не буду извиняться за то, что я здесь» пишу строкой ниже, аккуратно, как на контрольной: «Правило первое. Чат курса читают до семи. После семи телефон лежит экраном вниз». У тёти Вали двенадцать правил. У отца три. Одно теперь у меня.

Телефон ложится экраном вниз на подоконник, к банке. Клубничное варенье съедобно. Двор шумит не громче, чем

вчера. Москва по-прежнему не имеет ко мне дела. Один раз я уже напомнил о себе. Больше не буду.

Скинуться

Сбор появляется в чате в среду, в одиннадцать двадцать, между парами. Пишет девушка из их компании, чьё имя я не пока не знаю: «У нас днюха у Соня!! Подарок от группы, скидываемся по две тысячи, карта в закрепе, до восьми вечера». Два восклицательных знака подряд.

Две тысячи. Цифра раскладывается сама: мамин навык из соцзащиты просачивается через поколение. Две тысячи - это две недели моих обедов, если обедать по минимуму и не шиковать. Право не выделяться в этой группе стоит две тысячи. Место в центре ряда продаётся по прейскуранту, просто прейскурант никто не выкладывает.

Под сообщением растёт колонна: «скинул», «+2к», смайлики. Я и закрываю. Правило первое работает. В понедельник я благодарен сам себе.

На паре я сижу у окна и почти слушаю. Андрей Петрович объясняет про завязку: событие, после которого всё будет развиваться дальше. Я записываю определение и думаю, что моя завязка лежит в закрепе чужого чата.

После пары она идёт по рядам: девушка с телефоном и списком в глазах. Она собирает не деньги, деньги переводятся сами, по карте. Ей нужны согласия.

До меня она доходит четвёртой. Смотрит быстро и при-

ветливо, как смотрят на тех, кто заведомо согласится.

— Мирослав, ты с нами?

Меня зовут по имени. В первый раз за две недели. Не фамилия из списка, не «ты бюджетник», а имя. В её исполнении имя звучит как купон: предъявить и получить скидку.

— Я не буду.

Уши загораются сразу: сначала всегда уши. Голос садится после первого слова, но у меня всего два слова, и оба успевают прозвучать ровно. Девушка кивает без выражения.

— Ок. Это твоё дело.

И она идёт дальше по ряду. Профессионально. Ей не нужен конфликт, ей нужен список. Никто не смеётся, а это было бы проще. В тишине Артём Барский говорит, не мне, а задним рядам, громко и почти доброжелательно.

— Он бюджетник, ему можно.

Никто не спорит. Двое улыбаются, кто-то возвращается к телефону. Возразить значит занять позицию, а позиция стоит дороже смеха. Это и есть их университет: не злые люди, а люди, которые не хотят платить лишний раз. Я не про деньги.

Я собираю вещи и выхожу в коридор. Ждать от себя триумфа бесполезно: его нет. Есть горячее желание, чтобы они увидели, что мне не страшно. А мне страшно. Просто страх стоит дешевле, чем две тысячи, и я впервые выбираю по цене.

Обратно иду мимо гаражей, через арку. За аркой ничего не меняется. В шесть сорок мне хочется открыть чат: сколько

скинулись, кто именно, написали ли что-нибудь после «ему можно». Я не открываю. В семь правило закрывает вопрос само. Впервые незнание - не слабость, а работа, которую я сделал.

Сколько собрали, я не знаю. Подарок купят без меня, Сою поздравят без меня. Никто этого не заметит: я и раньше не был там, где дарят.

Вечером достаю тетрадь. Под правилом первым пишу: «Правило второе. Ничего не беру в долг». Думаю про слово «скидываемся»: у него нет второй формы. Нельзя отказаться так, чтобы это выглядело нормально. Хочется записать своё: «Я не скидаюсь». Не записываю: лишняя строка, лишний вес.

В носке по-прежнему две тысячи. Это вся моя награда: цифра не изменилась. Пересчитываю дважды, цифра упрямится и остаётся.

Мне можно, сказал он, и это даже правда. Мне можно всё то, чего никто не заметит. Я закрываю глаза. Завтра - семинар по истории. Правил у меня теперь два, и оба мои.

Коля

Учёт я произвёл в среду вечером, лёжа на кровати у окна. Наличные: две тысячи. Хлеб: половина буханки. Варенье: примерно треть банки. До конца месяца: двадцать один день. Математика расходилась с календарём, и календарь не

собирался идти навстречу.

В четверг, около десяти, в комнату входит Коля. Вернее, входит сосед, а имя он получит через десять минут. У него в руке серая сумка-термокороб с ремнём, перетёртым до белизны. Сразу видно курьера со стажем. Так пахнет улица, кофе и чужие подъезды. Он ставит короб у двери, вешает куртку, подключает пауэрбанк к розетке у моей тумбочки. Наши территории пересекаются в точке розетки, и это единственное место, где мы с ним сталкиваемся физически.

На двери нашей комнаты с заселения висит листок: «Кольцов Николай Александрович. Иванцов Мирослав Олегович». Фамилии жили вместе раньше нас. Мы с ними только познакомились.

Про Кольку я знаю немного. Он уже был первокурсником: поступил, не потянул, отчислился сам. Теперь он второй раз изучает те же предметы. Он из Волгограда. Я из Саратова. Три сотни километров и одна река. За две недели мы не обсудили ни этого, ни чего-либо ещё.

Коля не задаёт вопросов. За две недели я ни разу не слышал от него вопросительной интонации. Мы здороваемся жестами, и этого обоим достаточно. Ему не нужно, чтобы я одобрял. Мне не нужно, чтобы он спрашивал. Идеальная формула, я проверял.

Сегодня формулу нарушаю я. Правило отца: никого ни о чём не проси. Я не собираюсь его нарушать. Просить и спрашивать адрес — разные операции. За адрес платят руками,

а руками я платить умею.

— Где ты берёшь заказы? — спрашиваю я. Получается ровно. Уши молчат.

Коля отворачивается от пауэрбанка и смотрит на меня секунды две. Решения в его лице я не вижу, он не озвучивает ходы.

— Смена от четырёх. По району. Платят в тот же день, переводом на карту.

Он берёт кастрюлю и идёт с ней в кухню, как будто разговор окончен. Через минуту возвращается и договаривает:

— Скажешь, что от Кольцова. Очередь есть, но место найдётся.

— Николай Александрович? — показываю я глазами на листок.

— Коля.

— Время?

— С четырёх до одиннадцати, иногда дольше.

— Пойду.

— Нормально.

«Нормально» — его слово, я слышу его второй раз за две недели. В первый раз оно отвечало на «Из Саратова». Сегодня — на «пойду». У нас с ним слово одно на двоих, и мне от этого почему-то легче, чем от всех обещаний на свете.

Коля ест быстро, из кастрюли, параллельно смотрит в учебник. Потом уходит мыть кастрюлю, кладет её на место, сушку протирает. У него порядок не педагогический, как у

мамы, а практический: чтобы утром не искать.

Адрес я записываю в заметки, на телефон с треснувшим экраном. Трещина режет слово «доставка» пополам, но адрес читается. Офис у метро, вход со двора, спросить Тахира.

Это самая большая помощь за две недели. Коля не спрашивает, зачем мне. Не спрашивает про сбор, про мем, про носок. Он просто открывает дверь и держит её открытой ровно столько, сколько нужно, чтобы пройти. Первый вид доброты, который я могу принять и не остаться должным. Потому что это было от души.

В тумбочке лежат две тысячи. До субботы их хватит. Я гашу свет. Коля уже спит у двери, дышит ровно, как человек, который умеет выключаться. Завтра в четыре у меня первая смена. Правил по-прежнему два. Прибавляется адрес.

Работа

В пятницу, без десяти четыре, я стою во дворе офиса. Вход со двора - это не фигура речи, это способ попасть внутрь: мимо мусорных баков, под козырьком без таблички.

В офисе очередь из троих. Кроме меня, на смену выходят парень с бандажом на запястье и девушка с учебником, который она читает на ходу. Никто не здоровается. В четыре вечера людей просто объединяет нужда в деньгах.

За столом сидит Тахир. Он выглядит ровно так, как должен выглядеть человек, к которому идут не по объявлению,

а по имени.

— От Кольцова, — говорю я.

Тахир поднимает глаза, смотрит секунду и кивает.

— Кольцов - это хорошо. Короб твой вот, вот адреса. Сда-
ча есть?

— Не знаю.

— Тогда держи сто рублей мелочью. Это адресатам, не те-
бе.

Тахир проговаривает правила между двумя чужими зака-
зами, не глядя в мою сторону:

— Код не сработал - жди, дверь не дёргай. Не берут по
домофону - звони консьержу. Приметы читать до подъезда,
не после.

Короб мне достаётся казённый: серый, потёртый по углам,
пахнет чужими пирожками. Свой я заработаю. Адреса бу-
мажные, сложены вдвое: адрес, код, сумма, приметы. Приме-
ты: «домофон врёт», «бабушка глуховата, звонить трижды»,
«поставить у двери, не звонить».

Первая путёвка: кофе и сырники в девятиэтажку за доро-
гой. Домофон звонит, но никто не отвечает. С седьмого эта-
жа кричит женщина:

— Миленький! Сейчас муж спустится!

Я жду семь минут. Муж открывает на восьмой, **пакет** не
успел остыть. Он суёт мне пятьдесят рублей: «На пиво». Я
беру, хотя пиво даже не пробовал. Мне не стыдно.

Второй адрес - пицца. Открывает парень в трусах, заби-

рает коробку, говорит:

— Спасибо, брат.

Я не его брат. Я не спорю.

Третья путёвка - конверт, который нельзя сгибать. Девятый этаж, вход со двора, охранник без вопросов показывает на грузовой лифт. В журнале я расписываюсь за чужие документы, буквы выходят кривыми: рука ещё не моя.

Есть примечание: пакет у двери, не звонить. Я ставлю пакет, фотографирую для отчёта и ухожу. За дверью работает телевизор.

На седьмом адресе начинается дождь. Короб не промокает. Я - да.

К десяти вечера адреса заканчиваются. Шагомер показывает двадцать три тысячи. Уши горят - от ветра. Впервые причина другая.

В офисе Тахир пересчитывает наличные дважды и оба раза одинаково: тысяча сорок рублей, две пятисотые и четыре десятки. Пятьдесят от женщины с седьмого этажа лежат отдельно: это не заработок, это люди.

— Завтра выходишь?

— Да.

— В четыре. Короб твой.

Комната пустая: Коля на своей смене. Я развязываю носок. Носок принимает тысячу девяносто без комментариев.

Коля приходит к отбою, ставит короб у двери и включает пауэрбанк в розетку у моей тумбочки. Наши территории по-

прежнему пересекаются в одной точке.

— Ну как?

— Нормально.

Он не уточняет, что значит «нормально». У нас для этого слово одно на двоих, и сегодня оно вмещает: двор без вывесок, грузовой лифт, конверт, который нельзя сгибать, и тысячу девяносто в носке.

Эссе

Эссе задали на прошлом семинаре: «Город, в котором я живу». Нужно написать, не указывать фамилию, только номер группы. Я писал в воскресенье, после смены. Утром в сдал в стопку на краю стола.

На следующий день Андрей Петрович приходит с листочками и кладёт их на край стола, как всегда.

— Я посмотрел ваши тексты. Несколько прочитаю вслух. Фамилий на листах нет, я просил об этом специально, — он обводит аудиторию взглядом. — И не спрашивайте меня, чьё это. Я тоже не знаю.

Первый текст - про строительство города. Второй - про то, как столица несправедлива к пригородам. Оба хорошие.

Я хочу, чтобы прочли мой. Хочу с такой силой, что стыжусь этого хотения прямо на паре. Мой текст был третьим.

Андрей Петрович читает ровно, без выражения: «В моём городе есть главные улицы и есть дворы. Главная улица рас-

сказывает о городе гостям: набережная, трамвай, красивые слова. Двор рассказывает о себе его жителям.

«В сентябре я начал запоминать коды от московских подъездов. Код - это короткое слово, после которого дверь пускает тебя, не спрашивая, кто ты. Города не делятся на богатые и бедные. Они делятся на те, где тебя ждут, и те, где ты пока посторонний. Я пока живу во втором.»

— Интересно, — говорит Андрей Петрович. Пауза. — Кто узнал свой двор — не поднимайте руку. Просто узнайте.

Я не поднимаю. Впервые просьба преподавателя совпадает с моим интересом целиком.

— А чьё это? — спрашивает Барский.

— Это не важно, — говорит Андрей Петрович и берёт следующий лист.

Барский откидывается на спинку и молчит. По сентябрьским меркам это почти доброжелательность. Соня слушает, наклонив голову. Никита зевает по расписанию.

— У меня есть привычка, — говорит Андрей Петрович, складывая листы. — Некоторые тексты, я складываю в отдельную папку. Кто автор - не спрашиваю. Если автор сам захочет, то скажет сам.

Встать я не встаю. Хочу - секунды три, честно. Признание - вещь, которую я пока не умею принимать.

Он уходит в свою сторону, не оглядываясь.

Письмо

В четверг, приходит сообщение от отца: «Привет, сынок. Война по графику. Как ты? Держись. Папа».

В ответ сначала написал много, но потом стер: про смены, про носок, про две тысячи, которые не отдал, про эссе, которое в понедельник читали вслух без имени. Но про деньги - это как просьба, даже если она не написана. «Никого ни о чём не проси» работает в обе стороны.

Второй вариант помещается в три строки: «Пап. Всё нормально. Учусь, работаю. Держусь. Приезжай, если сможешь».

По меркам нашей семьи это длинное письмо.

Другой

В субботу у Тахира двойная смена: с утра пакеты из магазина, вечером - кафе по району.

Тахир выдаёт утренние путёвки и смотрит на меня на секунду дольше обычного.

— Не перегорел?

— Нет.

— Значит, рано.

Утренняя половина - продуктовые пакеты. Приёмщица в „Пятёрочке“, давая адреса, показывает подбородком на стеллаж: после семи вечера здесь жёлтые ценники, дешевле на треть. Я киваю и запоминаю. Зачем - пока не знаю.

Вечерняя половина - кафе: коробки с чизкейками, кофе, суп в казённой термосумке. К десятому заказу ноги перехо-

дят в режим, который не спрашивает мнения. Один клиент не открывает двадцать минут, потому что спит. Разбуженный человек в пижаме смотрит на меня без злости: у нас с ним одинаковые выходные.

К одиннадцати адреса кончаются. На вахте Тахир пересчитывает мои наличные дважды и оба раза одинаково: за день - две тысячи сто.

Дома я развязываю носок и считаю всё сам. Девять тысяч двести. Две - из дома, те самые, что я не отдал в сбор: самая выгодная сделка сентября. Они переехали в глубину и в расход не идут. Остальные семь тысяч двести прошли через ноги.

Пятьдесят рублей от женщины с седьмого этажа я так и не потратил. Они лежат отдельно и отдельными остаются.

Месяц назад, в поезде, я репетировал, как представляюсь. Теперь у меня есть короб, эссе, работа и сумма, которую я произношу без запинки. Из этого складывается человек.

Телефон вибрирует на тумбочке. Нарушаю правило №1: я читаю чат после семи. Трещина на экране проходит ровно по новому сообщению.

В общем чате написано: «Люди, подскажите, где в районе можно недорого поесть? А то столовка до семи».

Профиль открывается в два касания. Тверь. Я поднимаюсь по чату вверх, к мему первой недели, к одному смайлику с перевернутым большим пальцем, который пришёл ночью без подписи. Двадцать четвёртый смайлик был его. Теперь

я это знаю.

Месяц назад я никого о нём не спрашивал. Автор нашёлся сам — вопросом о еде.

В нашем потоке бюджетников только двое: я и он. Друг друга мы заметили ещё в первую неделю, издалека, по признакам, которые не называются.

Под вопросом никто не отвечает. Я знаю эту тишину: она не злая, она занята собой.

На такой вопрос отвечают либо сочувствием, либо адресами. Сочувствием меня уже угощали. У меня есть адреса.

Я открываю личный диалог. Палец зависает над трещиной. Трещина на этот раз не мешает.

Пишу про жёлтые ценники в „Пятёрочке“ у метро после семи. Про столовую в корпусе напротив: дороже, но порции вдвое больше. Про булочную, которая после восьми отдаёт вчерашнее за полцены.

В конце добавляю: «Я курьером работаю, это я по районам знаю. Мирослав, первая группа».

Имя я ставлю не потому, что не боюсь. Анонимность я уже пробовал: она спасает текст. Людей спасает имя.

Он отвечает через четыре минуты.

— Спасибо.

И следом, через минуту, без приветствия и подписи:

— Держись.

Слово из дома. Я смотрю на него дольше, чем оно того требует.

— Держусь.

Сентябрь кончается завтра. Я никому ничего не должен:
ни людям, ни месяцу.

Телефон я кладу экраном вверх.